|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова**   |  |  | | --- | --- | |  |  | |

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**К 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова редакция журнала “Нева” предложила известным критикам**

**и писателям ответить на следующие вопросы:**

*1. В письме Суворину Чехов судит себя и своих современников очень строго: мы пишем жизнь такой, как она есть, а дальше ни тпру ни ну; у нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати; кто ничего не хочет, ни на что не надеется, тот не может быть художником.*

*Что это — святое недовольство собой или справедливый диагноз?*

*2. С какими суждениями классиков о Чехове вы согласны и почему?*

*Анненский: его нельзя не любить, но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть что невеликим? Я перечел опять Чехова... И неужто же точно русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника... <…> Господи, и чьим только не был он другом: и Маркса, и Короленки, и Максима Горького, и Щеглова, и Гнедича, и Елпатьевского, и актрис, и архиереев, и Батюшкова... Всем угодил — ласковое теля... И все это теперь об нем чирикает, вспоминает и плачет, а что же Чехов создал?.. Что он любил, кроме парного молока и мармелада?*

*Ахматова: его вселенная однообразна и скучна, солнце не светит, мечи не сверкают, отсутствует героизм, жертвенность, глубина, величие.*

*Гиппиус: слишком нормален.*

*Толстой: мнимое превосходство над героями.*

*Солженицын: нет устремленности ввысь.*

*3. С чем сегодня ассоциируются слова “чеховская интеллигенция” — с душевной чистотой, с безволием, с идейной деградацией?*

*4. Считается, что Чехов изобразил “всю Россию”. Нуждается ли сейчас в корректировке это утверждение? Какие важные типы, на ваш взгляд, отсутствуют у Чехова? Что, на ваш взгляд, в XXI веке может быть подвергнуто переоценке в “чеховедении”?*

*5. Отношение к чеховской прозе (точнее, эпическим жанрам) и драматургии часто было противоположным и у критиков, и у знаменитых писателей-современников (Толстой, Бунин). Какой литературный род, с вашей точки зрения, преобладает у Чехова? Кто более для “матери-литературы ценен” — Чехов-прозаик или Чехов-драматург?*

*6. Один известный советский писатель в семидесятые годы прошлого века говорил, что слава Чехова-стилиста преувеличена, рассказы вроде чеховских писать просто, его приятель (было названо имя известного рассказчика)ы мог бы сочинить хоть десяток “Дам с собачкой”. Трудно ли, с вашей точки зрения, написать “Дом с мезонином” или хотя бы “Лошадиную фамилию”? Кто в ХХ веке сочинял вещи подобного стиля и уровня? Кого можно назвать в современной литературе продолжателем чеховских традиций?*

*7. Эдуард Лимонов, исповедуясь в ненависти к советской интеллигенции, с особым отвращением говорит о стоящих у нее на полках “пузатых томах тошнотворных Чеховых, Толстых, Достоевских”. Чем, по-вашему, вызвана эта ненависть? Это творческая ревность, эпатаж или что-то другое?*

**Павел Басинский*, критик***

1. Любое высказывание Чехова (как и другого писателя, но Чехова — в особенности) нельзя рассматривать вне контекста. В письмах к тому же Суворину, по дороге на Сахалин, Чехов достаточно откровенно высказывается о женщинах, с которыми у него по пути были известного рода приключения. И что же — делать из этого вывод, что он — циник? Так же и эта фраза. Она говорит о том, что Чехов просто не был равнодушен к общественным запросам своего времени, а эти запросы были, условно говоря, “прогрессистскими”. Нужен прогресс, нужно образование народа, задача интеллигенции — этому образованию служить и т. д. Лично мне Чехов глубоко симпатичен этой, “интеллигентской”, “народнической”, стороной своей личности. И если здесь есть диагноз, то скорее нашему времени, нашей интеллигенции, в особенности — художественной. Мы-то равнодушны. Нам-то — наплевать. А Чехов — родом из XIX века, из той мягкой и доброй, совестливой России, которую, собственно, мы и потеряли.

2. Все неправда, и все правда. Правда ровно настолько, насколько каждый из этих людей прочел Чехова и искал в нем что-то для себя. Понятно: для Гиппиус и Ахматовой он слишком нормален, для Толстого — недостаточно духовен и смиренен, для Солженицына — недостаточно героичен. Анненский же здесь выступает как задиристый критик. Точно такие же высказывания мы найдем и у Розанова-критика. А Ленин, прочитав Чехова, сказал: “Вся Россия — палата № 6”. Ну и что?

3. Нет, не было и не будет никакой “чеховской интеллигенции”. Были, есть и будут персонажи Чехова, которые продолжают жизнь в любом времени.

4. Да, Чехов изобразил *всю* Россию. Отсутствуют у него только святые, хотя это тоже еще вопрос. Дымов в “Попрыгунье”, дьякон в “Дуэли” — разве не святые?

Я против любых “переоценок”. И я не знаю, что такое единое “чеховедение”. Его не было и нет. Был Александр Чудаков, есть англичанин Дональд Рейнфилд, есть серьезные текстологи, и есть множество “эссе” различных писателей о том, как они “видят” Чехова. Что считать “чеховедением”? Лично мне не хватает просто хорошей *русской* биографии Чехова. Лично мне обидно, что англичане (Рейнфилд) и тут нас обошли. Такой, если угодно, маленький патриотизм.

5. Для России, конечно, ценнее Чехов-прозаик. Но для мира — важнее Чехов-драматург. Собственно, у нас есть три писателя, которые вошли в синклит мировых гениев: Достоевский, Толстой и Чехов. Но Чехов вошел в этот синклит только как драматург. И это надо понять и принять как великую честь для России. Но нам-то ближе персонажи его прозы. И как западному человеку понять, скажем, “Дочь Альбиона” или “Архиерея” или “Студента”? Это такое наше, родное, родненькое... Это “домашнее”. А драматургия — для всего мира. Ну и ладно...

6. Ну, разумеется, никого! Чехов — гений, и повторить его нельзя, как нельзя повторить Моцарта. Тот прозаик 70-х годов мог написать хоть сто “Дам с собачками”, но ничего, кроме “дам” и “собачек”, там не было бы. Не было бы гениально точных чеховских нюансов, вроде того, что муж героини — немец, а Гуров в “Славянском базаре” съедает сковородку с селянкой. В этом контрасте — вся мудрость рассказа. В прозе Чехова детали играют, бьют ключом. Это живой родник, от которого зубы ломит. И это не стиль, это натура.

7. Мне это мало интересно... Лимонов просто играет в хулигана. Искать в словах хулигана смысл, по-моему, глупо. Если это искренний хулиган, ему можно сострадать, можно его по головке погладить, если не кусается. Но смешно всерьез обсуждать, что там Лимонов сказал о Толстом, Достоевском или Чехове. Это все равно что обсуждать пьяного, который мочится на стену Эрмитажа: а нет ли в этом какого-то глубокого смысла?

**Владимир Елистратов*, культуролог***

1. Об этом Чехов писал не только в письме к Суворину. Это вообще — некий “фон” его жизни: все плохо, никаких перспектив, мы никуда не годимся, амбиции у нас европейские, а воспитание азиатское, в русских трактирах воняет чистыми скатертями, у женщин в голове много пустого места, и потому они учат иностранные языки быстрее мужчин, в хорошую погоду хорошо повеситься, Рим похож на Харьков, даже таксу стыдно, что у него кривые ноги…

Если несколько сгустить краски, то Чехов — это ослик Иа русской словесности. Правильно о нем писали: “сумеречный художник”. Особенно после Сахалина и открытия чахотки. “Просахалиненный”, как он сам выражался, Чехов стал особенно сумеречным. Иван Солоневич писал, что Чехов отразил “быт мелкой интеллигенции туберкулезного происхождения”. В целом, так сказать, вульгарно-социологически, все это верно. Здесь — и недовольство собой, и проистекающий отсюда диагноз, поставленный Чеховым жизни, жизни вообще, и не только русской (и французы, и англичане, и немцы у него — практически все саркастически карикатурны). И подобная пессимистически-критическая нота, тот самый звук лопнувшей струны, была в чеховские времена весьма востребована. С одной стороны — вечное демократически-прогрессистское развенчивание “свинцовых мерзостей русской жизни”. С другой — декадентское мистическое “нытье”. По-моему, Чехов в глубине души презирал и “демократов”, и “декадентов”. С первыми, правда, он всю жизнь якобы дружил. О декадентах же Чехов прямо писал в своих записных книжках, что они здоровые мужики и их надо отдать в арестантские роты. А вместе с тем — что такое “Черный монах”? Это же, если угодно, готовый манифест символистов. Чехов парадоксальным образом словно бы соединил, “нейтрализовал в себе” какого-нибудь Решетникова с его Пилой и Сысойкой и “ночь, улицу, фонарь, аптеку” “упадочника” Блока, при этом, в сущности, отмежевавшись и от того, и от другого. Он был медиком не только по профессии, но и по всему складу мышления и чувствования. В чем сам не раз признавался. Он знал свой диагноз (смертельный) и, думаю, миру ставил такой же. В его сакраментальное “мы увидим небо в алмазах” я не верю. Потому что “небо в алмазах” — это про смерть. В Чехове было что-то индуистско-буддистское. Он хотел прервать эту проклятую сансару страданий (и личную, и общую) и где-то Там найти покой от туберкулеза, людской подлости и пошлости, бесконечного писания ради денег и т. д., и т. п. Он мог сколько угодно переписываться с Горьким и другими “оптимистами”, мог сколько угодно принадлежать к демократическому лагерю — суть его была иной.

2. Со всеми и в то же время — ни с одним. Все это — разные ракурсы-тезисы, каждый из которых имеет антитезис. Анненский противопоставляет “вековые деревья” Толстого и “болото” Достоевского “палисаднику” Чехова. А что плохого в палисаднике? Подавляющее большинство людей хочет жить в доме с палисадником, а не в диком лесу и не в болоте. Анненский считает, что Чехов “невеликий”. Вот уж совсем непонятна грань между Великим и невеликим. Да, Чехов дружил с сотнями своих современников, он был очень “шустрый провинциал”, а еще любил молоко и мармелад. Кроме того, он любил женщин и, как известно, был по этой части чуть ли не маньяком. Его эпистолярные откровения на данную тему, как известно, очень затормозили издание полного собрания сочинений. Чехов обладал феноменальной работоспособностью и не менее феноменальной харизмой. И т. д., и т. д. В общем, если даже предположить вслед за Аннен-ским, что Чехов ничего путного не написал, одна его жизнь — выдающееся произведение искусства. Вот уж действительно “супер-селф-мэйд-мэн” (тьфу, какая гадость!) и “матерый человечище”. И все же кое-что Чехов написал…

Утверждения Ахматовой, Гиппиус и Солженицына о его приземленности, излишней нормальности, скучности, отсутствии в нем героизма и устремленности ввысь — все это верно. Но лишь отчасти. Времена-то тогда были, так сказать, ницшеанские, и Чехов был свидетелем самых разнообразных форм “сверхчеловеческого психоза” с его устремлённостью бог знает куда. Кончилось все это, как известно, большим кровавым блямсом ХХ века. Чехов был стоиком. Не поддаться духовным и интеллектуальным сквознякам конца XIX — начала ХХ века было очень нелегко. Кстати, Ахматова тоже стоически “однообразна и скучна”. Ее поэтика, в сущности, одна и та же — и в десятых, и в шестидесятых… Никакой стилистической эволюции. Более “нормальную” женщину, чем Гиппиус, трудно найти. В какие бы декадентские игры она ни играла — полное здравомыслие и четкий расчет. Как у всех трех Михалковых, вместе взятых. Солженицын, упрекающий Чехова в том, что у него “нет устремленности ввысь”, — самый “неустремленный ввысь” писатель ХХ века. Бесконечное, эпическое перелопачивание документов, математически выверенные и вместе с тем — архаизированные стилистические эксперименты… Утверждение же Толстого о “мнимом превосходстве” Чехова над героями я не очень понимаю. Наверное, речь идет о шаржах, сатире и т. п. Толстой просто не очень “по этой части”. Впрочем, на Наполеоне в “Войне и мире” Лев Николаевич, как говорится, оторвался по полной.

3. Со всеми тремя качествами, которые совершенно не исключают друг друга.

4. Чехов действительно — “энциклопедия русской жизни” и изобразил “всю Россию”. Может быть, где-то он был “точнее”, где-то тенденциознее. Наверное, вполне можно согласиться с Буниным в том, что Чехов не очень понимал и чувствовал дворян, дворянский быт. Но уж так называемый средний класс Чехов знал прекрасно.

Я не знаю, как будет эволюционировать чеховедение в ХХI веке, но совершенно очевидно, что в ближайшее время будет окончательно развеян массовый миф о “добром дяде” Чехове с перманентной слезинкой сочувствия Ваньке Жукову и Каштанке на стёклышке пенсне. Еще мать Антона Павловича говорила о сыне: “Антоша злой”. Злой не в смысле какой-то там агрессивности, а в том смысле, что он особенно ясно видел жизнь с ее темной стороны. Он видел не зло, а Зло. И постоянно жил в ощущении его присутствия где-то здесь, рядом. Тут даже не сатира, не ирония — здесь некий метафизический сарказм, какой-то архаический, хтонический, утробный, вплетенный чисто по-чеховски в скучную обыденность. Только Чехов мог написать такой хичкоковский триллер, как “Спать хочется”, такую мясораздирающую (“сарказм” по-гречески происходит от словосочетания “рвать мясо”) бытовую сценку. Еще шаг — и начинается хармсов-ская авангардистская вакханалия с отрыванием ушей, откусыванием носов и т. п. Или нагромождение кошмаров а-ля Леонид Андреев, о котором Толстой сказал: “Андреев меня пугает, а мне не страшно”. Мало таких людей, которые могли бы встать рядом с Чеховым по ясности видения Зла, Кошмара и абсурдности жизни. Большинство — играло в Зло. Чехов же в него не играл, он его правдиво изображал. Словом, чеховедение, судя по всему, будет все дальше и дальше углубляться в метафизику Личности Чехова. А там — бездны и бездны.

5. Скажу крамольную вещь: я не люблю, не понимаю и не принимаю “серьезного” Чехова-драматурга. Я очень люблю его водевили, а вот “Я чайка, я чайка!” — никак не принимаю. При этом нисколько не сомневаюсь в чеховской драматургической гениальности. Если рассуждать чисто литературоведчески, то Чехов — представитель (омерзительное слово) так называемой новой драмы. Ибсен, Гамсун и др. Чехов — “наш Ибсен”. Утки, чайки, подводные течения, меньше слов — больше пауз и т. д. Это такая драматургия подтекста, когда, извините, шут его знает, этого автора, что он там имел в виду. Все так символично, многозначительно, многослойно и туманно! А многозначительная пустота — это то, где можно безнаказанно разгуляться режиссеру и актерам. С Остров-ским особо не забалуешь: у Островского сочнейшая пульпа текста, и его надо произносить. А здесь, в этой самой “новой драме”, — якобы наэлектризованная до невозможности пустота. И отсюда — пиршество интерпретаций этой пустоты. И поэтому автор неизбежно всех мистифицирует. Потом в “театре абсурда” мистификация будет зашкаливать.

“Вишневый сад”, “Три сестры”, “Чайка” — это все-таки, опять же, метафизические розыгрыши. Читать “Три сестры” или “Иванова” очень скучно, примерно как Хемингуэя, если ты не готов играть с автором в тот самый “айсберг”. Но ведь тут еще работает Эффект Великой Личности: “это же сам Чехов!” Чехов зевнул, почесался и написал: “Пауза”. А режиссер уже захлебывается от творческих планов: “О! Пауза! О! О! О! Что бы это значило?! О, чеховская пауза!” Совсем другое дело “мелкая” чеховская драматургия. Она очаровательна.

Чехов накормил несколько поколений театральных работников. И продолжает кормить. И спасибо ему за это. Но по мне, несмотря на все ее величие, чеховская драматургия вторична. Можно сказать, что его проза — это живая музыка, а его драматургия — ноты для музыкантов.

6. Сейчас, если следовать логике этого зашифрованного советского критика, все могут писать, как Пушкин, Тургенев, Чехов и др. “Как Толстой” писали сотни писателей ХХ века, от Фадеева до Бондарева. Это называется “продолжать традиции Толстого”. “Как Чехов” — тоже писали сотни. И “как Достоевский”.

Текст Чехова не некий технически сложный эксперимент. Здесь “рулит” особая мировоззренческая установка. Это что-то вроде рублевского исихазма. Максимум эффекта через минимум красок, средств, слов. А бывает наоборот (Достоевский, Гоголь, Лесков, Белый…) — как у исихаста Епифания Премудрого с его “плетением словес”. Выбор зависит от конституции творческой личности. Чехов — “минималист”. И такая установка была свойственна многим писателям. Шукшину, например, Довлатову… А вот Веничка Ерофеев — это Епифаний. А Булгаков, выражаясь максиамльно грубо, — это гибрид Гоголя с Чеховым. “Плетение словес с чувством меры”. О совсем современных продолжателях традиций Чехова, к сожалению, ничего не могу сказать. Большое видится на расстоянии.

7. В высказываниях Лимонова, конечно, есть и эпатаж. Но, кроме того, Лимонов, мне кажется, прекрасный поэт-лирик и далеко не такой прекрасный прозаик-эпик. Хотя он и пишет прозу, но это — проза поэта. Ему вообще чужда эпическая стихия. Он лирик и в чем-то трагик. И его пресловутый нацболизм — тоже чистая лирика, почти интимная, сродни творчеству античных поэтов-аристократов, вроде Архилоха. Думаю, что и эпические “Илиада” с “Махабхаратой”, и наши былины, и все такое прочее — все это для него тоже “тошнотворно”. Лимонов — это такой маленький неистовый танцующий Шива-разрушитель. Тантрист с картонным автоматиком. Он хочет мир переделать, как Данко с Буревестником. Его таким мама родила. А Чехова мама таким родила, что он отчетливо видит: мир переделать нельзя. Его надо хотя бы поддерживать в прежнем состоянии. Чехов — Вишну-созидатель. Он хочет ловить рыбу, в крымском садике копаться, за палисадником ухаживать, про Каштанку писать, мармелад кушать и молоком запивать… А Лимонову все это скучно, он хочет привязать к Каштанке гранату и запустить ее в Кремль, чтобы посильнее бабахнуло. Так что тут дело не в ревности-ненависти, а в маме с папой. В генетике.

**Леонид Жуховицкий*, писатель***

1.Скорей всего, это утешительный пирожок, кинутый деликатным Чеховым своему энергичному адресату, у которого хватало целей, особенно ближайших, и который, увы, мог гораздо меньше, чем хотел. Ну, какое “мы” могло объединять великого Чехова с расчетливым середняком Сувориным? Однако гении, вообще, щедры: и Шаляпин мог написать на карточке, подаренной приятелю Исаю Дворищину: “Побольше бы таких актеров, как мы с тобой”.

Было здесь, конечно, и иное. Как всякий великий художник, Чехов создавал свой мир и не мог не видеть несовершенство этого сотворенного мира. Но что делать, если мир, просто по своей природе, противоречив, раздерган и далек от идеала? Чехов видел жизнь глубже, честнее и точнее, чем любой из его современников, да, пожалуй, и потомков. Поэтому его герои абсолютно не зависят от оценок со стороны. Толстой и Ленин трактовали Душечку прямо противоположно — и что с того? Правы оба. И последующие трактователи будут правы. Но трактовки меняются, а образ остается.

2. Сегодня читать все это в высшей степени забавно. Анненский и Гиппиус нынче всего лишь фамилии из учебника, они прочно забыты, хотя, скорей всего, и не совсем справедливо. Анна Андреевна, возможно, искала так называемого “настоящего мужчину”, по-современному — мачо. Но у Чехова не было ни малейшей необходимости демонстрировать мускулы: девушки и без того любили его всю жизнь за тонкость, понимание, спокойное достоинство и уникальное чувство юмора. Литературный путь Сол-женицына лучше всего убеждает, что насчет Чехова он вряд ли прав. Со смерти Александра Исаевича прошло чуть больше года, его, как и прежде, почитают, но, к сожалению, почти не читают. Говоря о нем, постоянно поминают первые вещи: “Один день Ивана Денисовича” и “Матренин двор” — тогда Солженицын писал, по формуле Хемингуэя, простую и честную прозу о человеке. Но кто вспоминает “устремленное ввысь” многотомное “Красное колесо”? Великая литература — это сплав исповеди и проповеди, но, когда исповедь вытесняется проповедью, редко получается что-либо хорошее. Когда-то Халдоур Лакснесс точно заметил, что не стоит нести в роман то, что можно произнести с бочки в Гайд-парке.

С оценкой Толстого я готов согласиться, если убрать слово “мнимое”. Чехов действительно превосходил современных ему литературных героев, в том числе и собственных, и толстовских, и превосходство это было вовсе не мнимое. В зрелом Чехове нет ни капли раба. Нигде и никогда он не расшаркивался перед действующей властью, да и вообще перед властью. Не могу себе представить, чтобы Чехов прогибался под государя императора, как Достоевский, или под трех генсеков подряд, как Шолохов. Он не был митинговым оратором, не строил баррикады, он просто был независим и несгибаем, как Пушкин, как Лермонтов, как Герцен, как сам Толстой. Не случайно именно его выбрали в учителя, и как стилиста, и как личность, два крупнейших русских прозаика, перешедшие из века в век, — Горький и Бунин.

3. С душевной чистотой. Чеховские интеллигенты — это прежде всего врачи, бескорыстные чернорабочие совести: доктор Астров, доктор Рагин, доктор Дымов. Да и другие, кроме разве что Ионыча. В самом главном, в благороднейшей из профессий, им хватало и воли, и верности идее. А идейно деградировали те, кто этого не видит.

4. Чехов изображал то, что хотел. А вместе получилась вся Россия. Требовать от писателя, чтобы он куда-нибудь художественно вставил недостающий тип, сильно отдает совком, когда читатели, хваля книгу, все же укоряли автора за то, что не отобразил роль сантехников или пожарных. А переоценке, наверное, стоит подвергнуть место Чехова в литературе. Он никогда не относился к творчеству как к спорту и не боролся за главную тумбу на пьедестале. Мне кажется, его вполне устроило бы любое место в скромном ряду Пушкина, Тургенева и Толстого.

5. Мне ближе Чехов-прозаик. Но, думаю, театральные люди рассудят иначе. Сегодня на мировой сцене по числу постановок с Чеховым соперничает, наверное, только Шек-спир. Любой режиссер, метящий в живые классики, просто не может обойти Антона Павловича. Прочитать Чехова по-своему для предводителя труппы все равно что для нападающего забить гол в финале чемпионата мира.

6. Не сомневаюсь, что известный советский писатель говорил искренне. Жаль, что ни у известного, ни у его не известного нам приятеля так и не нашлось парочки недель, чтобы написать несколько “Дам с собачкой”. Видимо, были слишком заняты аппаратной работой в Союзе писателей.

Для дальнейшего вопроса выбраны вещи уж слишком не равноценные. Дюжина юмористов вполне могла бы сочинить нечто вроде “Лошадиной фамилии”. А вот “Дом с мезонином” — увы… Вещи “подобного уровня” не сочинял никто ни в ХХ, ни в ХIХ веке. Хотелось, но не получалось.

Продолжать чеховские традиции в разной степени пытается вся современная литература, и не только русская. Отблеск чеховских открытий лежит практически на любом крупном писателе. А вот особо выделить кого-то я бы не рискнул.

7. Мне кажется, это не ревность и не эпатаж — это вполне справедливая обида на Создателя, который так неравномерно распределил среди заинтересованных лиц литературный талант, явно обделив тех, кто в нем особенно нуждается.

**Елена Иваницкая*, культуролог***

4. 2. Зияние в художественном мире Чехова бросается в глаза. Среди изображенных им людей нет таких, как он сам. Чехов — да это же Наполеон! Двинувший с трагическим торжеством творческую и нравственную рать на поединок с судьбой. “…Сын крепостного… благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный… лицемеривший богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по капле раба и…” Сотни раз цитировалось это письмо, где Чехов рисует сюжет победы над теми условиями существования, которые мир задал личности. Но сам за такой сюжет не взялся. Предлагал его другому “победителю жизни”, старому магнату Суворину, который был и сила, и богатство, и власть и с которым молодой писатель сошелся в задушевной дружбе, “как некий равный государь”.

На собранные в анкете суждения классиков можно смотреть только с недоумением. Почтительным или не очень. Это Чехов-то — “ласковое теля”? Да он мучительный мизантроп, он волк зубастый и вгрызающийся. Это Чехов-то — слишком нормален? (Мережковский был полностью согласен с Гиппиус и писал: “слишком обыкновенен”.) Какая уж тут нормальность и обыкновенность, если он, похоронив брата Николая, умершего от туберкулеза, и наблюдая у себя те же симптомы, дошедшие до кровохарканья, стремительно собирается и едет — в ад. А оттуда — в рай. “Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлон” (письма, том 4, с. 143).

Устремленность ввысь у Чехова была настолько сильна, что его не устраивала вся человеческая вселенная. Даже в лучших проявлениях. О худших или “обыкновенных” нечего и говорить. Они заклеймены, пригвождены, они с дрожью гадливости выставлены на обозрение — как препарат какой-нибудь отвратительной язвы. Но и в том, что неоспоримо хорошо, взыскующий абсолютного совершенства идеалист отыщет изъяны. Вот, например. Прекрасный сад — это во вселенной Чехова “благо”. Беречь весеннее цветение — тоже “благо”. В рассказе “Черный монах” цветущий сад спасают от заморозков дымом. Как будто бы все прекрасно: плодотворный труд, знающая забота, садоводче-ское мастерство. А вот и нет. Сад был коммерческим, приносил тысячные доходы, и для его защиты найдены такие слова: “...стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи”. Не урожай, не плоды, не красоту — “эти тысячи”. А “тысячи” во вселенной Чехова отнюдь не благо. Потом замечено: “костры из соломы, навоза и всяких отбросов”. Царапнутый читатель ахнет: не из дубовых же дров разводят костры для защитного дыма! Нечего ахать. Да, не из дубовых. Но совершенной красоты, совершенного бескорыстия нет даже в достойном труде, и писатель об этом не умолчит.

Превосходство над героями у Чехова не мнимое, а самое настоящее. И не только над героями. У кого еще было то, что было у Чехова? Да не только в России, а в мире. Сила, талант, беспощадный нравственный кодекс, предельный идеал. А еще — “могучая воля”, как писал Корней Чуковский, и только с этим суждением я лично могу согласиться.

Чехов презирал людей, имея к тому все основания как в людях, так и в себе. Наверное, хотел схватиться не только с жизнью — ее он победил, но и со смертью. Повторял: не буду лечиться, не дам себя осматривать. Еще в раннем (1887) рассказе “Счастье” появляется “могила” (по сюжету — “одинокая гора Саур-Могила”) в символическом контексте: “...если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо… Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей”. Понятно? Мне — нет.

Не соглашаясь с негативными суждениями классиков, добавлю, что восторженные суждения, которых в анкете нет, еще “невозможнее”. Один благодарный обожатель и знаток уже в наши дни пропел гимн любимому писателю — знаете за что? За “скромность, сдержанность и нравственную опрятность” (Чеховиана. М., 1993, с. 5). Молчу.

1. 3. Суровые нравственные принципы Чехова велели ему жалеть и прощать, но исключительно по социальным причинам. Только тех, с кого из-за нищеты и темноты “спроса нет”, ни морального, ни интеллектуального. С интеллигенции спрос есть, и ей Чехов не простил ничего. Ни идейной деградации, ни чая с мармеладом. В художественном мире Чехова приемлем, допустим, не вызывает отвращения кусок хлеба для голодного, но отвратительно, возмутительно, тошнотворно все, что — и как — едят и пьют те, кого не стережет голод.

5. “Людям неведомо, почему они венчают славой произведение искусства, — писал Томас Манн. — Они воображают, что открыли в нем сотни достоинств, лишь бы подвести основу под жгучую свою заинтересованность”. Я не понимаю, на что в творчестве Чехова с такой жгучей заинтересованностью отзываются те, кто любит его прозу и драматургию — или что-то одно, не принимая другого. Но знаю, что эта отзывчивость есть, и даже в высочайшей степени. Мама рассказывала мне о своем неодолимом эмоциональном потрясении на спектакле “Три сестры”. Это был пятьдесят первый год. Ростов-на-Дону. Мама — студентка, переболевшая туберкулезом, потерявшая отца на фронте, а раскулаченного деда — в сталинских застенках. Жизненный опыт жестокий. Никак не сравнимый с бедами трех сестер. Но она смотрит, слушает, и в ней нарастает жгучее чувство, которое уже невозможно терпеть. И она бросается вон из зала, с рыданиями бежит по коридору, оплакивая — что? “Музыка играет так весело…” А за ней с рыданиями бегут перепуганные подруги.

**Александр Кабаков*, писатель***

1. И диагноз, и самоедение, как и положено Чехову, — если судить по его героям.

2. Согласен со всеми. Вот за все ими сказанное я Чехова и люблю.

3. А этих слов уже никто и не употребляет. Ввиду почти полного исчезновения обозначаемого этими словами социально-психологического явления.

4. Ту новую Россию, которая появилась после уничтожения старой, настоящей, никак не мог изобразить. И ту, которая сейчас есть часть совсем нового мира, тоже. А ту, которая по углам выживала и сейчас доживает, — изобразил.

5. Не знаю насчет “матери-литературы”, такими торжественными категориями не мыслю. А мне — прозаик, конечно.

6. Написать-то нетрудно. Только Чехов это уже написал, а если попробовать — получится, “как у Чехова”.

7. А Эдуарду Вениаминовичу все, что составляет жизнь обычного человека, не геройского революционера в картинной позе, все мешает. Уж Чехов-то в первую очередь. За это я Чехова и люблю.

**Калле Каспер*, писатель***

1. И сейчас наблюдается подобная нехватка идей. Все или смирились с капитализмом, или плачут по социализму советского образца. Да, придумать что-то новое действительно трудно. Но стараться надо, “если хочешь быть художником”.

2. Писатели, как известно, писателей не любят. Но если сравнивать высказывания, то ближе всего к истине Гиппиус. Только надо убрать слово “слишком”. Достоинство Чехова именно в том, что он нормален. Наверно, это первый русский литератор после Пушкина, которому можно сделать такой комплимент. После сдвинутых в ту или в другую сторону Толстого и Достоевского наконец появляется автор без истерики, без национального эгоцентризма. Характерно, к примеру, отношение Чехова к Венеции — искреннее восхищение красотой этого города, никаких попыток доказать, что “наши лучше”. Или посмотрите, как разумно он относится к проституции, без самобичевания Толстого и героизации Достоевского. Ну, какому нормальному мужчине не интересно, какие они, китаянки и индуски...

3. Скорее, с крепким позвоночником, не допускающим сползания на уровень подобострастия к власти или поклонения золотому тельцу.

4. Думаю, не нуждается. В его пьесах все общество того времени действительно как на ладони. Что касается “важных типов”, то еще раз — да, нет у Чехова юродивых и кликуш; и замечательно, что нет. Что в них такого “важного”? Уверен, это не та дорога, на которой следует искать (положительного) героя. Все попытки в этом направлении, предпринимающиеся сейчас, нелепы и смехотворны (“Гамлет” в МХАТе, “Остров” Лунгина и пр.).

5. Конечно, Чехов-драматург. Тут мы имеем дело с уникальным человеком, который оказал огромнейшее влияние на весь XX век. Все хорошее, что было в СССР, — от Чехова. Это он, можно сказать, сформировал образ советского интеллигента. Ходил народ в театр, смотрел, о чем и как говорят чеховские герои, как они себя ведут, как держатся, сравнивал их с теми чучелами, которых он видел на помосте партийных съездов, и сделал свой выбор.

Чеховские рассказы конкуренции его же драматургии не составляют. Увы, для прозы он был немного молод, болезнь и смерть помешали ему полностью реализоваться в этом жанре. Драматургия же ближе к поэзии, чем к прозе, она только требует большего ума, чем стихи, — ну а в уме у Чехова недостатка не было.

Что касается ауры, витающей вокруг чеховских рассказов, то это как с Моцартом: у него скучные, монотонные оперы, но благодаря его огромному инструментальному таланту возник “бренд”, который тащит за собой и его оперное наследие.

Вот с Булгаковым наоборот, сколько времени и сил он тратил на драматургию, но разве ее можно сравнить с его прозой?

Но пока писатель живет и сочиняет, он этого не знает, а бродит в темноте.

6. Мне кажется, Бунин как прозаик, как новеллист, заметно интереснее Чехова. Но Бунин уехал, стал врагом, и хотя потом и последовала реабилитация, но канон был уже создан и первое место занято.

Что касается современности, то, мне кажется, даже сам Чехов не смог бы сейчас продолжить свои традиции. Его просто не заметили бы, а если б и заметили, у него был бы такой узкий круг читателей, что ему все равно пришлось бы в один момент бросить литературу, чтобы кормить родителей. К счастью, у него была профессия, так что он не пропал бы.

7. К лицу ли солидному литературному журналу цитировать посредственность?

**Владимир Катаев*, литературовед, председатель Чеховской комиссии РАН***

4. В анкете упомянуто о “чеховедении”; эта ветвь науки о литературе знала немало блестящих имен. “Чеховедами” были Владимир Лакшин, Зиновий Паперный, Александр Чудаков, Эмма Полоцкая…

После выхода академического тридцатитомника сочинений и писем Чехова, казалось бы, можно было говорить об исчерпанности чеховской текстологии, источниковедения, комментария. Но сейчас, особенно в преддверии юбилея, все очевиднее большое количество остающихся белых пятен. Прежде всего, *до сих пор не издано полностью все, что вышло из-под пера Чехова.* Освоены далеко не до конца архивные материалы самого писателя и его окружения. Далеки от полноты комментарии к сочинениям и письмам. Чеховская комиссия РАН свои ближайшие задачи видит в восполнении этих пробелов. Нам предстоит выполнить долг перед Чеховым, оставшийся у Академии наук со времени выхода этого собрания его сочинений и писем. Так, туда не вошли материалы сахалинской переписи, проведенной Чеховым. Лишь недавно усилиями сотрудников Сахалинского областного архива наконец изданы 7445 карточек, находящихся в РГБ и РГАЛИ, плюс одна карточка из Дома-музея в Ялте, которые заполнены рукой Чехова, — издание получилось великолепное. В тридцатитомнике также отсутствуют ранние медицинские записи Чехова, не полностью изданы записные книжки.

Самый же большой пробел — многочисленные купюры в десятках писем. Эти сокращения были продиктованы эдиционными нормами, ставшими анахронизмом, и нормами политкорректности давно ушедшей эпохи. Письма Чехова, издаваемые за рубежом (например, в Оксфорде в 2004 году), давно печатаются полностью, без ложностыдливых умолчаний и нередко в сопровождении язвительных комментариев по поводу неполноты наших изданий.

Покойный Михаил Громов говорил, что нами утрачен целый “лицейский том” классика — первые его печатные произведения, разбросанные под неизвестными псевдонимами в периодике конца 1870-х годов. Их поиски, конечно, должны быть продолжены, хотя на этом пути уже бывали ложные открытия.

А лондонский профессор Доналд Рейфилд предлагает покопаться в архивах Одесского попечительского округа — может быть, там еще сохранилось последнее школьное сочинение Чехова “Нет более зла, чем безначалие”. Он же говорит о ненайденных или неопубликованных историях болезней, которые составлял Чехов-студент. Где-то в архивах парижской газеты “L’Aurore” может быть найдено интервью, данное в 1898 году Чеховым журналисту-дрейфусару Бернару Лазару. И, конечно, немало неизвестных писем Чехова разбросано по разным городам и странам... Но и обнаруженные в наших архивах тексты Чехова не изданы до сих пор полностью.

Возможны два варианта: издание 31-го, дополнительного тома Чехова или переиздание дополненного тридцатитомника (или хотя бы 12 томов серии “Письма”).

Необходимо провести кодикологическое исследование чеховских материалов, хранящихся в рукописном отделе РГБ и в РГАЛИ. Это оптико-электронное исследование рукописей с использованием новейшей методики криминальной экспертизы. Оцифровка и оптико-электронное исследование всего фонда чеховских рукописей также обещает немало нового по сравнению с тем, что было прочитано при подготовке академического издания. Полустершиеся карандашные записи в записных книжках или густо замазанные строки в письмах к Шехтелю — лишь немногие примеры такого рода.

Все написанное рукой Антона Павловича должно быть наконец опубликовано.

Да, чеховедение стало отраслью мирового литературоведения. В мире появляется немало работ со свежими наблюдениями над отдельными рассказами, повестями и пьесами, разрабатываются различные аспекты чеховской поэтики, литературных связей. За последние тридцать лет чеховеды создали огромный исследовательский корпус, пользуясь всеми мыслимыми критическими подходами. Но при этом всё острее ощущается потребность в теоретических, концептуальных прорывах. И от молодых, идущих в чеховедение, нужно ждать новых концепций общего понимания творчества нашего писателя, подобных по своей продуктивности тем, что были сформулированы в 1970-е — начале 1980-х годов.

За последние годы появилось несколько серьезных работ. Это книга Андрея Степанова “Проблемы коммуникации у Чехова” — работа, которую по праву можно назвать прорывной, открывающей новые горизонты и глубинное осмысление давних проблем чеховедения. Это недавно защищенная в Чикаго диссертация Радислава Лапушина — поэта, читающего знакомые чеховские тексты как поэтические произведения, открывающего в них поэтическую ритмику, звукопись, поэтический синтаксис.

Вышли первые книги Николая Капустина, Сергея Тихомирова, Майи Волчкевич… Все они в свое время прошли через конференции молодых исследователей Чехова, первая из которых состоялась в 1993 году. Вышел уже пятый сборник “Молодые исследователи Чехова”. Так что есть что почитать, над чем подумать.

Необходим словарь языка Чехова, словарь чеховских фразеологизмов — их ждут многочисленные переводчики Чехова, люди театра, разумеется, учителя, преподаватели и исследователи русского языка во многих странах.

До сих пор не существует подлинно научной биографии Чехова, да и достойные популярные жизнеописания на сегодняшний день назвать трудно. Везде — либо увлечение одной стороной личности Чехова, либо изъятия в угоду вкусам или предубеждениям.

Надежда на создание прочного основания научной биографии связана с “Летописью жизни и творчества Чехова”, три тома которой уже вышли. Правда, в этом важном издании творчество присутствует лишь в виде заголовков произведений (другое не предусматривается по определению), а тенденция к умолчанию кое о чём, что составители, видимо, считают несовместимым с обликом великого классика, просматривается уже в первом томе “Летописи”. Так, там не сказано, что заявление о приеме в университет было написано с грамматической ошибкой (“медицынский” через “цы”) или что начало знакомства с “тайнами любви” сам Чехов отнес к тринадцати годам (кстати, в книге Доналда Рейфилда “Жизнь Чехова” указывается и место чеховского приобщения к этим “тайнам” в Таганроге).

Книга Рейфилда — самое обширное на сегодняшний день жизнеописание: тут и серьезное использование архивных материалов, и выведение из тени умолчания ряда фактов и биографических линий. Но жизнь Чехова рассматривается в книге практически в отрыве от его творчества. Рейфилд достаточно говорит о Чехове-писателе в других своих книгах и статьях, но вынести за скобки биографии писателя его писательство — не значит ли уйти от самого главного, чем Чехов и интересен?

**Юрий Колкер*, поэт***

1. Какой бы вопрос в связи с Чеховым ни обсуждался, одно (притом ни разу не сказанное) нужно держать в уме и ставить скрипичным ключом к любому ответу: не было бы в России никакого Чехова, никогда бы он из врачей не стал писателем, если б писательский труд не вознаграждался тогда с неправдоподобной, невообразимой для нас щедростью. Написал рассказец — живи припеваючи месяц, а то и два; ленись вволю, лень ведь необходима, она — гигиена таланта, отдохновение души. А пьеса прошла с успехом — Маркс твое полное собрание сочинений предлагает издать и 75 тысяч выкладывает, то есть пять миллионов долларов на сегодняшний счет. *Чехов — профессионал*. Выгодную профессию сменил на еще более выгодную. Этим и метод его писательский во многом определен, и мировоззрение; и — его отношение к себе. “Вот и ответ”: в письме к Суворину Чехов правду говорит, только правду, почти всю правду; неправда заключена лишь в местоимении *мы*. Кто мы? Чехов и Потапенко?.. Конечно, если приглядеться, то и все остальное в его словах — неправда. Писать жизнь не такой, как она есть, а такой, *как она должна быть*? Это соцреализм; квинтэссенция пошлости. Цель у писателя может быть только одна: наслаждение, свое и читательское. Другие цели — тот же соцреализм или рынок. Если еще раз приглядеться, опять в словах классика кусочек правды найдем, притом горькой. Кто “ничего не хочет и ни на что не надеется”? Сытый. Когда всё есть, то ничего не надо. Поворачиваем стрелку на 180 градусов, к антиподам (Чехова и России Чехова): кого видим? Эдгара По, жившего мечтой и голодного как волк, — потому что кому же нужны мечтатели в провинциальной, рассудочной Америке? Прикованного к постели Роберта Луиса Стивенсона видим, с его *Островом сокровищ*. (Как Чехов, тоже сорок четыре года прожил, со сдвигом ровно на десять лет.) Человек, лишенный всего (или многого), живет мечтой. Человеку, у которого есть всё, мечтать не о чем. У него в душе, говоря по-чеховски, — “хоть шаром покати”. Но тут еще одно всплывает, притом важное: портрет тогдашней России. Это была страна сытых в эстетическом тупике. Аполлон Майков и Яков Полонский большими поэтами считались, продолжателями Пушкина; оба состояли членами-корреспондентами Петербургской академии наук. За два поколения — от Пушкина к Фофанову съехали! В прозе — то же самое. Спасибо Тургеневу и Эжену де Вогюэ: Европа нас признала, мы теперь писатели! Агрессивный модернизм, поднимающий голову за десять лет до смерти Чехова (и Чеховым не замеченный), — реакция на эту Россию, на эту Азиопу; и — на Чехова как ее лучшего выразителя.

Что до “святого недовольства собою”, то оно — дивное качество; каждый думающий человек недоволен собою; чем умнее, чем больше сделал, тем больше недоволен; но ведь и то нельзя упустить из виду, что искушение признать в себе это дивное качество является легче у признанных: у сытых известностью. Посмотрите на дату письма к Суворину: какой это Чехов? Не всероссийский ли уже? Ну, так ему и сам бог велел. Туда же и Толстой. А вот когда ты не сыт, да и не веришь, что сыт будешь, тогда, воленс-ноленс, приходится идти в председатели земного шара, и тут пусть хоть все смехачи засмеются, а у тебя грудь колесом. Со дна колодца видны звезды, зато резкий неподкупный свет дня — не виден.

2. Четыре суждения из пяти верны — как бывают верны эпиграфы, вырванные из контекста. На каждое необходимо возразить. Солженицыну передайте при встрече, что “устремленность ввысь” — вещь хорошая, важная, Чехову недостающая, но уж слишком советская по фактуре (как и весь Солженицын). Ахматовой — что глубины-то как раз Чехову хватает. Анненскому (Карфаген должен быть разрушен) — что палисадник там возникает, где литература сползает с Кавказа на Северо-Сахалинскую равнину: когда писатель становится профессионалом. Зинаиде Николаевне (надеюсь, речь о ней, хотя писателей с фамилией Гиппиус было еще двое) ничего не передавайте, потому что она ничего не сказала. Толстому же напомните, что по отношению к автору герой всегда — подчиненный, и с этой оговоркой он, Толстой, прав с точностью до наоборот. Сам такой.

Интереснее то, чего пятеро в упряжке *Невы* не сказали и что вообще не сказано: почему на Западе Чехова считают не прозаиком, а драматургом, только драматургом, а в России — в первую очередь прозаиком, “писателем”? В пьесах Чехова западный зритель получает золотое сечение Азиопы, видит закат России накануне ее погружения в чаруса истории. Представление об этой исчезнувшей стране Чехов дал лучше всех; тут он почти Тацит. Но на сцене пуд скуки берет на себя актер; зрителю только полпуда перепадает, а западному зрителю — еще экзотика диковинной страны, белой Африки (одни имена чего стоят!); читателю же, открывшему *Три года*, приходится все полтора пуда на себе тащить — и ему не сдюжить; мечи-то и впрямь не сверкают. Приманки, внятной русскому, для западного читателя нет. Приманка эта — странно вымолвить — народничество Чехова, секуляризованное, выхолощенное, перенесенное из дебрей Толстого и топей Достоевского в палисадник, освобожденное от ладана, приближенное к идейной интеллигенции. Берем знаменитую Липу из повести *В овраге*: западный человек никогда в нее не поверит, и правильно сделает; не было такой Липы, не бывает; она — миф, литературная выдумка о святости “народа” (русского простонародья). А русский интеллигент, тот самый, веховский, народничающий, вздорный и прекраснодушный, как раз готов заплакать над Липой. Он вообще охотно плачет под занавес с вышитой на нем чайкой. Дорожку в палисадник с чайкой на массивном занавесе ему вымостили отвергнутые им реакционеры-богоискатели, заблуждавшиеся матерые человечища. Чехов дает облегченный вариант народничества, главной русской славы и беды лучшего в истории России века. И как раз вовремя дает: на горизонте вырисовывается уже другая Липа, внучка чеховской: Липа с револьвером, комиссарша из *Оптимистической трагедии* Всеволода Вишневского, двоюродная сестра чудовищной Лиды из *Дома с мезонином*. Она — ближе к телу. В нее легче поверить. Она — была. Только ГУЛАГ, культурный продукт “русского народа” (простонародья; крестьян и приказчиков той внеисторической родины), несколько протрезвил умы: вынудил понимать Россию умом, признать, что ее настоящим народом были Толстой, Достоевский, Анненский, Зинаида Гиппиус, Ахматова, Чехов, а не мужичок-христофор, в одночасье меняющий чудотворную икону на единственное правильное учение, Христа — на Маркса.

3. Из трех подсказок насчет чеховской интеллигенции одну сразу отдадим большевикам: что такое “идейная деградация”? У разбуженного Герцена и заспанного Белинского идеи были высокие, а тут измельчали? Или толстовство сильно возвысило Толстого? Художественной прозе идеи вообще не к лицу, даже ее героям. Не в идеях дело.

“Душевная чистота” — тоже с идеологическим душком; из морального кодекса строителей коммунизма. Образованный герой Чехова — в родстве с таковым Мопассана (как Чехов, он тоже сорок четыре года прожил, со сдвигом ровно на десять лет), с поправкой на Азиопу; не чище, не гаже. Этот герой принадлежит своей эпохе — только и всего. Если он склонен к педерастии, он скроет это от автора (а тот — от читателя), права качать не станет, на улицу с плакатом не выйдет. Душевная чистота в разговоре о Чехове ни при чем.

Безволие — да, оно чеховским героям свойственно; Шопенгауэр где-то там бродит по московским улицам с Эдуардом Гартманом под мышкой, — но отнюдь не только интеллигентным чеховским героям оно свойственно. Всем его героям деваться особенно некуда; приедешь в Москву, а там — тот же Таганрог. Всемирное, настоящее — происходило где-то на западе, на британских морях; или чудилось, что происходит; а в России — даже не чудилось. Занятно, что именно крестьянская реформа сломала русским хребет. До нее — чего-чего, а уж воли (то есть деятельной мечты) русским было не занимать; возьмите хоть того же Герцена с Бакуниным. Они — что угодно, только не пошлость, не скука, не безволие. Они — Россия в Европе. Но едва крестьян освободили, как сразу Чехов начинается. Ровно по 1861 году водораздел проходит, когда Антоше годик исполнился.

А теперь и эту конструкцию отвергнем: “чеховская интеллигенция”. Правы веховцы, единодушно измерявшие дарование русских писателей их (писателей) презрением к русской интеллигенции. Кто чеховский архиерей из *Архиерея*? Интеллигенция ладана на дух не выносила; Чехов этой вещью изумил и озадачил “передовых людей”, которые в священнике человека не видели.

Чехова интересовали только две вещи: во-первых, говоря на современном русском языке, гендерный вопрос, отношения прекрасного пола с безобразным; во-вторых, неизбывная трагедия человеческой жизни. Эти два вопроса Чехов ставит и решает для себя (самым пессимистическим образом) на любом человеческом материале, а из этого материала лучше знает и понимает образованных, — необразованных же, по русскому обыкновению, приукрашает, идеализирует в народническом духе. Чехов и интеллигенция не то чтоб две вещи несовместные, как в случае с Толстым и Достоевским, а — плохо согласующиеся. Лучше эти слова рядом не ставить.

4. Чехов мог бы увидеть, но проглядел таких своих современников, как Плеханов (1856–1918) с товарищами: тех, кому предстояло разрушить чеховскую Россию; у Чехова нет людей типа Петра Николаевича Лебедева (1866–1912), физика, измерившего давление света, и Александра Степановича Попова (1859–1905), тоже физика, который хоть и не изобрел радио, но специалист был настоящий. Не то чтоб такие герои были нужны писателю, но Россия без них — не вся. Осип же Дымов в *Попрыгунье*, самый положительный герой Чехова, — схема, задник, он служит фоном и подпоркой гендерным делам; к тому же он врач, а не ученый. Чехова совсем не интересовали люди отвлеченных занятий, мыслители; не очень интересовали люди поприща. Конечно, их было в России немного, но будущее принадлежало им.

Чехов не увидел и Михаила Осиповича Гершензона (1869-1925). Это другая промашка классика: евреи, их место в русской жизни. Карикатурная Сусанна Моисеевна из *Тины* и вообще Чехову чести не делает, но она плоха еще тем, что будущего своей страны Чехов не понимал и не предчувствовал: не видел, что типичный русский в XX веке будет этнически на четверть евреем; что *Катюша* Исаковского, положенная Блантером на средневековую еврейскую мелодию, станет самой народной, самой задушевной песней России.

А в “чеховедении” — все должно быть подвергнуто переоценке: через отказ от непомерного пиетета перед Чеховым. Я не призываю уважать Чехова меньше; я призываю не благоговеть, не сусальничать, не умиляться, а встать с ним вровень — он–то искал читателя равного себе по уму, если не по таланту; восхищаясь, видеть его недостатки; любить — с недостатками. Это, впрочем, ко всему русскому литературоведению относится. Роковым для русской культуры стал 1881 год, когда Пушкину памятник в Москве поставили. На этой бронзе повредилось несколько поколений русских писателей и читателей, а дальше — все литературоведы, как только они завелись. Бедные школьники советской поры! Какую исковерканную картину жизни вынесли они из школы с ее кумирней властителей дум, созданной сусальным литературоведением.

5. Старая истина: Чехов — не сценичен. Его пьесы — феномен очень русский, выражают унылый fin de sie1cle лучшего века русской истории; они — памятник страны, которой давно нет. Вся их жизнь на российской сцене XX века — чуть-чуть музейна, искусственна, а потому и фальшива; ничему они не отвечали в советское время, кроме благоговейной, сусальной памяти; ничему и сейчас не отвечают: нет ни страны, ни народа, для которых они были написаны. Они только и годятся для театра с нелепым именем: художественный академический, — для этого капища нелепой, каменной серьезности, где в актере и в режиссере чуть ли не мыслителей видят. (В здоровом обществе, при живом театре, актер — по своему социальному статусу — слуга, а режиссера вовсе нет: где режиссер у Эсхила, у Шекспира? Общество, в котором актер и режиссер — общественные фигуры, в художественном отношении бесплодно.)

Чехова нужно читать, а не ставить. Он создал свое пространство, в котором можно жить. Его язык очень хорош в своей простоте, его понимание жизни и души человече-ской не устарело и вряд ли скоро устареет; оно и русский язык переживет; а что до бытового фона, то эта — чистая археология на берегу Китеж-озера. Читаем же мы прозу про Африку, про Латинскую Америку, упиваемся экзотикой; так и тут: “Пили чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз...”

6. “Известный писатель” прав, почти прав. Сравним Чехова с громокипящим Гюго, которого Чехов так убийственно высмеял (“Они глядели друга на друга часа четыре...” и т. п.). Вот уж где стилист, вот где мастер! Но сегодня Гюго и без Чехова смешон, потому что глуп, напыщен, лубочен. Чехову отвратительна поза — и сопутствующий позе блеск, пусть хоть блеск шпаги. Прелесть Чехова как стилиста — в его вкусе и чувстве меры; вы словно беседуете с умным наблюдательным человеком. Он въехал на интонации, отвечавшей фактуре времени и места, родственной пейзажам Левитана, подкупавшей своею достоверностью. Но время и место вскоре изменились до неузнаваемости; Левитана сменили малевичи. Писать в чеховском ключе в 1970-е годы или сейчас — дохлый номер. Автор, держащий Чехова в качестве ориентира, не просто обречен: он бездарен; не видит, что и у читателя, и у Бога (иные думают, что это одно и то же) физиономия изменилась до неузнаваемости. Нам сегодня по уму только грубые радости. Чеховского читателя нет больше в природе: он выродился. Когда в 1966 году напечатали *Мастера и Маргариту*, люди кипятком писали, — а ведь *Степь* Чехова куда большего воображения требует, чем вся идейная булгаковская чертовщина.

Вопрос, “трудно ли написать” уже написанное, — ловушка для Золушки. Нет ничего проще второго закона Ньютона или уравнения Эйнштейна — после того, как они уже написаны, поняты, вошли в наше сознание. Три символа, связанных знаками равенства и умножения, — куда проще! Но за каждым равенством — целая вселенная. Так и тут. Чехов прост, проще некуда, — но это оттого, что он уже отвоевал у хаоса кусок космоса, расчистил участок, построил дом с мезонином. Нам остается только электрический свет включить да холодильник открыть: всё готово; ешь, пей и наслаждайся; проделанная работа — не видна, скрыта за кадром. Оттого и “слава стилиста” держится, удержалась за Чеховым во времена совсем не чеховские. Мы с вами, когда помоложе были, однажды открыли вещицу Игнатия Потапенка *Ужас счастья*, — помните? Изумились: написано не хуже Чехова; и закрыли. С тех пор не открывали; и не потому, что Чехову повезло, а Потапенку — нет; не потому даже, что в России одних превозносят за счет других; а потому, что избушка Потапенка обветшала, текст оказался необеспечен чем-то более важным, ни в какой текст не влезающим.

Правильный вопрос в связи с Чеховым другой: количественный. Сам он этим вопросом мучился и для себя на него не ответил. Написать хорошо страницу может каждый, потому-то страница текста — еще не проза; написать по-настоящему рассказ в пять страниц — хоть *Лошадиную фамилию* — тут некоторое дарование необходимо; а чтобы писателем прослыть, требуется вызвать к жизни триста страниц генетически однородного, связного текста, представляющего собою живой организм, в котором каждая клеточка взаимодействует с каждой другой. Если же вы три тысячи страниц написали как одно целое, не заскучав и не наскучив, вы — лев Толстой или тигр Достоевский; вы — национальное достояние. Человек расходует себя, вычерпывает свою душу по нарастающей при возрастании объема текста, и рост тут не линейный, а геометрический, экспоненциальный, мальтузианский. Нигде количество нагляднее не переходит в качество, чем в художественной прозе.

7. Вы бы еще Зюганова спросили да Аллу Пугачеву... Но Эдуарду-как-его-там пожмем руку, он дело сказал — и, конечно, не творческой ревностью движим; при чем здесь творчество? Советскую интеллигенцию не похвалишь. Советский Союз был чуланом, умственным и нравственным захолустьем, где на семьдесят лет остановилась всякая отвлеченная (свободная) мысль, в том числе и мысль эстетическая. Символом за-стоя как раз и сделались “пузатые тома”. Это были сторожевые вышки зоны, обнесенной колючей проволокой, в зоне же, во имя братства народов и светлого будущего всего человечества, насаждался русский заповедник XIX века с его властителями дум. Повторим до оскомины: бедные советские школьники! Детям, которым бы по возрасту Дюма читать да Фенимора Купера, пихали рассказы типа *Толстый и тонкий*, где нужно было статского советника отличать от тайного... — при секретарях горкома и генсеках, при исторических съездах нашей родной коммунистической партии! — ...и от тайного советника хересом пахло! Хересом! Картины жизни досоветской, притом очень взрослой (Чехов — чтение для взрослых), в советское время становились издевкой, насмешкой над обездоленными, а над детьми с воображением — в тысячекратной мере. Вот этот мальчик и эта девочка родились писателями — как им осуществить себя в очереди за гнилой картошкой, когда у Чехова про херес написано, а в школьной программе по литературе как вершинное произведение художественной прозы присутствует *Малая земля* одного четырежды героя? Именно “пузатые тома”, именно ветхие гении–классики из дворян и буржуев, почему-то выставленные пролетарским государством в качестве культурных вертухаев, делали советскую действительность вполне и окончательно безвыходной, сюрреалистической. И Чехов как советский вертухай — свирепее Толстого, потому что в палисаднике скучнее, чем в тайге.

**Михаил Кураев*, писатель***

1. Нам бы их заботы, как говорится! Они писали жизнь такой, “какая она есть”! А мы? Разве мы знаем, “какая она есть”? А вот ближайшие и отдаленные цели так очевидны: премия приятельская, районная, городская, российская, Букер!

2. Комментарий к комментарию — дело странное. Эта подборка заставляет вспомнить анекдот. Дама выходит из филармонии после концерта: “От Моцарта я ожидала большего”. А уж про “мармелад и парное молоко” сказать, да еще “ласковое теля”, стыд и срам. Много ли литературных гурманов отправились на Сахалин попить “парного молочка”, много ли поели “мармелада”, работая на холере, много ли в своих “палисадничках” построили школ, приняли больных?.. Трудно, конечно, но можно представить себе мировую культуру без Анненского, а вот без Чехова невозможно.

Нам Анне Андреевне Ахматовой возражать не по чину, а Лев Николаевич, даже немножко обидевшийся за героиню “Душечки”, высказался и о рассказе, и об авторе более чем убедительно: “Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви! И какой язык! Никто из нас: ни Достоевский, ни Тургенев, ни Гончаров, ни я не могли бы так написать”.

Кстати, вот и ответ на вопрос № 6. То, что Достоевскому и Толстому не по плечу, “одному известному советскому писателю” плево дело.

Каков читатель, таков у него и Чехов.

Василий Розанов: “В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении”.

После Шекспира в репертуаре мирового театра Чехов идет следом, стало быть, и мир полюбил в Чехове Россию.

Не знаю, как чувствует мир Россию, читая Анненского и Гиппиус. Читая Солженицына, думаю, — ужасается. Читая Толстого, скорее всего, задумывается, что же это такое — Россия. А читая Чехова, Россию начинают любить. “В нашем лондонском университете, — пишет исследователь жизни и творчества Чехова профессор Дональд Рейсфилд, — на кафедре английской (!) литературы преподают Чехова, несмотря на мои протесты, как неотъемлемую часть английской литературы. Это уникально”.

Чехов англичанам, как говорил Лопахин, “больше чем родной”, им, на “бесхитростном” Шекспире взращенным, ни глубины, ни высоты не надо!

3. Если это не тест, где надо угадать правильный ответ, то ни первое, ни второе, ни третье не есть, по-моему, отличительный знак интеллигента, ни “чеховского”, ни “пришвинского”, “ни булгаковского”.

Я имел счастье жить в детстве и юности среди людей, создававших советскую энергетику. Это и были “чеховские интеллигенты”. Люди образованные, порядочные, любившие и знавшие поэзию, музыку. Для них слова “Вся Россия — наш сад, и все мы в нем работники...”, “все лучшее, что мы делаем, это и есть народ” были их верой. Труд для блага людей, талант, бескорыстие, честное отношение к делу, чувство товарищества, уважение к человеку труда, скромность, самоотверженность, самоирония и чувство собственного достоинства — вот черты чеховского интеллигента. А про “безволие”, “идейную деградацию”, “сумеречные настроения” — это все пусть останется в “Дон-ском вестнике” 1904 года.

Впрочем, кредо “чеховского интеллигента” предъявил сам Чехов и подтвердил своей жизнью: “Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода ото лжи и силы, в чем бы последние ни выражались”.

Недаром же Горький говорил, что Чехов — единственный (!) из свободных людей, которых он когда-либо знал. А уж Горький-то людей повидал и на свободе, и в тюрьмах...

4. Может быть, “чеховедение” перестанет наконец мусолить заплесневелые пошло-сти, вроде того: “ставил вопросы, не знал ответы”, “никто не знает всей правды”, “певец сумерек”, “утешитель”...

5. Есть вопросы, несущие в подтексте момент предательства: “Кого больше любишь — папу или маму?”

Кто в Чехове преобладает — прозаик или драматург? Все знают, что Толстой просил Чехова не писать пьесы. Вот и остались бы мы с вами без “Трех сестер” и “Вишневого сада”.

6. Может быть, и “голубя” Пикассо нарисовать нетрудно, но для этого надо быть Пикассо.

7. “У этой категории нет определенного мировоззрения, есть лишь громадное, расплывшееся донельзя самолюбие и ненавистничество болезненное, скрываемое глубоко под спудом души...”. А. П. Чехов.

И еще. “Обыкновенные лицемеры (смотрят) прикидываются голубями, а политиче-ские и литературные — орлами. Не смущайтесь их орлиным видом. Это не орлы, а крысы и собаки”. А. П. Чехов.

Лимонов как раз двуглавый орел, литературный и политический одновременно.

**Татьяна Москвина*, писатель, критик***

1. Справедливый диагноз. Чехов на бешеных скоростях превозмогал этот метод (писания жизни как есть) — что, “Черный монах” или “Палата № 6” — это жизнь как есть, что ли? А на самом деле “жизнь как есть” невозможна в литературе — сам выбор материала и угол зрения уже есть ее преображение автором.

2. С отзывом Гиппиус. Да, Чехов — нормален. Только эта норма “не от мира сего”. Кстати, Лев Толстой Чехова обожал, откуда это вы нарыли про “мнимое превосходство”? Это случайный каприз. А вообще, как правило, ругая какого-то большого писателя, писатели спорят с чем-то внутри себя. Так или иначе Чехов вошел в состав крови всех пишущих, принимают они его или отрицают.

3. Очерк Корнея Чуковского о Чехове вполне закрывает эту тему. Чехов был энергичный, волевой человек, преображавший жизнь вокруг, он построил три школы, обустроил два имения, воспитал тысячи людей личным примером. Доктор Астров и многие другие доктора его сочинений — это в значительной мере автопортрет. Чеховская интеллигенция — это лучшее, что было у нас в истории, вслед за толстовскими совестливыми дворянами и сердечными женщинами Островского.

4. “Всю Россию” никто не может изобразить, она получается из совокупности художественного творчества, сложения разных авторских миров. Мир Щедрина и мир До-стоевского — какие тут точки пересечения? Весьма мало, а ведь и там и там есть истина. У Чехова была аллергия на мистику, но коли вас тянет в бездны, возьмите томик Леонида Андреева, какие проблемы. Всего припасено на Руси для пытливого ума!

5. Ценность чеховской драматургии выяснилась с ходом времени, а не сразу при жизни, когда она “срослась” с каноном Художественного театра и казалась подспорьем, материалом для великих спектаклей.

Потом Чехова узнал и понял весь мир, особенно его любят “островные цивилизации” — Англия и Япония. Ценность Чехова равновелика, едина и неделима, но что касается пьес, то их в России “заиграли”, замучили интерпретациями.

6. Писатели-мужчины вообще, как правило, самонадеянные идиоты. Если кто-то уже сделал колесо, сделать другое нетрудно. После Чехова писать рассказы “под Чехова” — много ума не надо. Дело же не в “стиле”, идиоты, дело в мировоззрении, в целостном, сильном, живом, умном отношении К МИРУ. Наследниками Чехова можно признать: Тэффи, Ю. Казакова, Ю. Трифонова и Евгения Шварца (дневники). Некоторые рассказы В. Токаревой (70-х годов).

7. Да вот еще я буду обсуждать мнения Лимонова, недоучки.

**Елена Невзглядова*, литературовед***

1. Если человек судит своих современников, он не отделяет себя от них, он естественно говорит “мы”, а не “они”. Но мы-читатели и мы-потомки не можем не отделять современников Чехова — потапенок, маминых, лейкиных, щегловых, елпатьевских — от самого Чехова, сказавшего об отсутствии у них художественной цели и пустоте внутреннего мира.

2. Ни с одним из приведенных суждений о Чехове я не согласна.

**Анненский** был слишком внутренне близок Чехову, слишком похож на него, чтобы беспристрастно оценивать со стороны. Та же сдержанность, мягкость, грусть, та же тоска. Общих с Чеховым черт Анненский просто не замечал, как не замечают собственную походку и мимику. Но его мысли, которые здесь приведены, относятся к миру Чехова, то есть к описываемой им действительности, к предмету изображения, а не к характеристике его прозы. Возможно, сам Анненский — во всяком случае, в этом своем высказывании — не делал большой разницы между этими вещами, а она на самом деле, конечно, есть.

У него, по-видимому, были твердые представления насчет того, какой должна быть проза, что она должна отражать и “к чему призывать”, как учили нас в школе, как учила русская прогрессивная критика. Жаль. Забыть бы эти ненужные требования! Как надо писать? — вопрос столь же нелепый, что и вопрос “как надо любить?”.

Я думаю, что проза не менее, чем стихи, сродни музыке, она пишется интуитивно, сознание непрерывно прислушивается к главенствующей эмоции, все мысли и сюжетные повороты ей служат. Откуда мне знать, какая должна быть проза? У Толстого она такая, у Набокова совсем другая, у Петрушевской — третья… Она только не должна быть скучной, глупой, пошлой и скабрезной. На этом можно поставить точку и не приставать к автору со своими пожеланиями. Если читатель ощущает убогость и бесполезность чьей-то жизни, чувствует себя в “палисаднике”, если его берет тоска, то эта тоска еще и “по где-то там сияющей красе”, как сказано у Анненского. Чего же больше?

Чехов дарит удивительное и сладкое чувство узнавания. Мы откуда-то знаем этих людей. Неужели Самойленки из “Дуэли” на самом деле нет? Да вот же он! А в иных случаях так невольно забираемся в чужую душу, что чувствуем — независимо от возраста и пола — вот этот человек с нелепым именем Мисаил (и прозвищем “Маленькая польза”) — это я. Помню, как я сидел (а) за столом над журналом мод своей жены, и слезы, как я ни старался (лась) их удержать, капали на страницу. В скобках скажу, что ничего подобного со мной, к счастью, не случалось (я бы не вынесла, у меня нет воли и мужества героя “Моей жизни”), тем удивительней, тем любопытнее это чувство узнавания, присвоения чужого. Вот кусочек из одного письма к Чехову (от 16 марта 1903 года): “Живя в Славянском базаре, я всё ходил по коридорам и глядел на двери номеров, все думал, не здесь ли встречались Дм. Дм. Гуров и Анна Сергеевна Дидериц. Трудно мне отрешиться от мысли, что их и не было никогда” (Лазаревский).

А отношение Анненского к Чехову непреднамеренно выражено в письме, которое было им написано по поводу безвременной смерти писателя: “Всю ночь меня преследовали картины окрестностей Таганрога (которых я никогда не видал). Туманная низина, болотные испарения, мокрые черные кусты, и будто рождается душа поэта, и будто она отказывается от бытия, хочет, чтобы ее оставили не быть… Тяжкая была ночь…” Так переживают смерть дорогого человека, в Чехове Анненский видел поэта.

Претензии **Ахматовой** (“его вселенная однообразна и скучна, солнце не светит, мечи не сверкают, отсутствует героизм, жертвенность, глубина, величие”) кажутся мне по меньшей мере странными, если не сказать — смешными. Между прочим, в ее прелестной лирике тоже “мечи не сверкают, отсутствует героизм, жертвенность”, не стану отрицать психологической глубины, но насчет величия есть сомнения (возможно, потому, что ее раннюю лирику — “Белую стаю”, например, — я безоговорочно предпочитаю “Поэме без героя”, в которой она сама видела “величие замысла”). И кто бы говорил об однообразии! “Вселенная скучна”? Полагаю, что одна финальная фраза рассказа “Огни” благодаря своему завершающему рассказ местоположению говорит больше о “вселенной” художника, чем все призывы народников и сомнительный постулат о спасительности красоты Достоевского.

Реплику **Гиппиус** пропускаю1.

У **Толстого** герои либо положительные, либо отрицательные (непонятно, как они остаются при этом живыми!). С Чеховым школьному учителю, мыслящему по старинке, должно быть трудно. Отношения с ними автора заслуживают особого внимания. Почти в каждом персонаже перемешаны достоинства с недостатками. Разве не все мы таковы? — спросила бы я Льва Николаевича. Известно, что он при помощи нескольких хирургических изъятий сделал из “душечки” Ольги Семеновны возвышенную героиню2  (ему так хотелось, чтобы Софья Андреевна подчинялась ему решительно во всем! И она, бедная, еще молодая, с удивлением писала сестре, что пока не было в доме христианской идеи, им жилось лучше, был мир). Многие непривлекательные герои Чехова могут вызывать и вызывают сочувствие. Мне кажется, что автор понимает Орлова из “Рассказа неизвестного человека”, когда тот говорит, что в доме, как на военном корабле, не должно быть женщин. Понятна временами даже жалкая потаскушка Надежда Федоровна из “Дуэли”. (“Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно… Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня…”)

Что касается упрека **Солженицына**, — думаю, он не понимал Чехова так же, как он не понимал стихов, — так же и по той же причине3. Прошу прощения за дерзкое предположение, но что делать? Чеховская проза сродни поэзии. В ней огромную роль играет интонация, речевая мелодия, к восприятию которой надо иметь особую склонность. С ней связано особое отношение к слову, свойственное поэту. Например, в чеховской записной книжке начальный замысел “Дамы с собачкой” был означен записью: “Дама с мопсом”. Слишком короткое, немножко комичное слово “мопс” подходило бы к юмористическому повествованию, а никак не к этому рассказу. Или вот, сравнивая наброски к рассказу “Случай из практики” с окончательным текстом, видим сделанное автором незначительное преображение, так много значащее на самом деле: “Кто идет? — точно тюрьма” (Зап. кн.); “Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом. „Точно в остроге…“ — подумал он и ничего не ответил” (текст рассказа). Тюрьма и острог — синонимы, но как важна здесь эта замена! Исследователь стихотворной речи непременно заметил бы повторяющийся гласный “о”, девять раз на протяжении двух предложений оказавшийся под ударением. А чисто риторические, типично чеховские вопросы и восклицания, тоже как будто заимствованные из лирических стихов! “И о чем говорить? Разве он любил тогда?” (Дама с собачкой”); “Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная!” (“Архиерей”). А пейзажные зарисовки! “…Как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, — тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых широких балконов и вторых этажей” (“Учитель словесности”). Эти тени, взбирающиеся на второй этаж!

И разве в “Архипелаге ГУЛАГе” есть “устремленность ввысь”? А романы “В круге первом” и “Раковый корпус”, по моему мнению, ни в какое сравнение с чеховской прозой не идут. Как это объяснить? Вот один рассказывает о событиях, а другой их показывает, заставляет присутствовать, проживать, видеть и слышать. Какая глубокая разница! Одно дело — читать о том, как кто-то плавает, а другое — самому плыть. Заставить читателя забыть себя, поселить в чужой мир, примерить его на себя всеми пятью органами чувств — вот задача художника, его подвиг, взятие высоты. Какой еще нужен героизм? Какое стремление ввысь?

И кстати, если писатель показывает жизнь такой, какой она не должна быть, это значит, что он представляет себе, какой она быть должна или, по крайней мере, какой он хотел бы ее видеть. В рассказе “Случай из практики” Чехов словами своего героя предчувствует справедливую, достойную будущую жизнь4, и, боже мой, как он ошибается!

Но можно сказать, что в своей прозе, в ее *тональности* Чехов был настоящим провидцем. Он видел, что жизнь не поддается переделке и корректировке, как звездное небо над ней. Она мстит тем, кто дерзко пытается навязать миропорядку свою волю. Человеческое зло оказалось не лучше, а хуже стихийного мирового (наводнения и землетрясения все-таки милосерднее Освенцима и ГУЛАГа). Чеховская проза проникнута этой грустью. Грустью, в которой угадывается такое глубокое знание природы вещей, что самый горький сюжет оборачивается радостью узнаванья.

3. Слова “чеховская интеллигенция” мне не приходилось слышать в быту, мы слишком далеко ушли от нее во времени. А ярлычок “чеховский интеллигент” обычно навешивают на человека с чеховской бородкой, очками и тихим голосом, это облик, а не характер. Он в какой-то мере связан с характером, но не так глубоко, чтобы говорить о душевной чистоте, безволии или, того хуже, идейной деградации.

Интеллигенцию, мыслящих людей чеховского времени, объединяло недовольство существующим порядком в обществе; это и было, по-видимому, “общей идеей”, которую полагалось иметь — революционная борьба с режимом. Но когда речь заходила об отсутствии мировоззрения, тут, мне кажется, происходила путаница. Чехова обвиняли в безыдейности на том основании, что он не пропагандировал “в художественной форме” народнических и марксистских идей. Но сам Чехов говорил: “Осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас”, и я, честно говоря, не совсем понимаю, что он в данном случае имел в виду. Отсутствие ценностей? веры? принципов? Мировоззрение — философское понятие. Если его суть нельзя определить, описать какими-то словами, зачем его употреблять? Какое у Чехова было мировоззрение, когда он говорил, что “на этом свете ничего не разберешь”, и ставил себе в заслугу как художнику то, что решился заявить о своем непонимании?5 А критика как раз этого и не понимала. Он как врач нащупывал все болезненные точки, не предлагая бесполезного рецепта. “В сущности, вся жизнь устроена, и человеческие отношения осложнились до такой степени, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце”. Это грустное всеведение ничему не мешало, в особенности, как ни странно, чувству юмора. Но однажды в письме он бросил фразу: “жить не хочется”. Возможно, такой был момент, возможно… Но мне кажется, что ему была свыше предписана прохладная роль “постороннего”; он смотрел на мир и свое пребывание в нем немножко сбоку, со стороны. Кажется, что и женился только потому, что этого от него ждали (и на той, которая обещала не присутствовать постоянно рядом). Выскажу предположение, что никто и ничто не привязывало его к жизни, кроме умения воссоздавать ее в слове. Это вовсе не означает равнодушия (в котором его упрекали). Нет более горячего и азартного интереса, чем этот. Он отзывался на все людские горести, но стоит сравнить “По делам службы” с рассказом “Рыбья любовь”, как станет ясно, что заслуга его не в этом.

Дело не в оптимизме и пессимизме, не в идее, не в мировоззрении. Конечно, если в душе “хоть шаром покати”, нечего браться за перо. Дело в таланте. Вот — “единственная новость, которая всегда нова”.

Сравнивая чеховских интеллигентов с теперешними, я удивляюсь способности тех точно, ясно и грамотно (!) выражать свои мысли. Инженер из рассказа “Огни”, фон Корен из “Дуэли”, прямая речь рассказчика в “Ариадне”… Сейчас так не умеют говорить.

4. Чехов изобразил столь многое, что не будет преувеличением сказать, что он изобразил жизнь вообще (в частности, российскую) и человека вообще, не только типаж своего времени. Человеческая природа неизменна; точно так же что-то неизменное есть в самой жизни, в жизни вообще, в ее природе, которую можно изучать по чеховским рассказам. Вопрос: “Какие важные типы отсутствуют у Чехова?” — мне непонятен (как будто речь идет о недостаточно полной переписи населения острова Сахалин, которую проводил Чехов).

Чеховедение велико, и наше, и заграничное, не берусь его обозревать. Не могу согласиться с Эйхенбаумом. Очень люблю замечательную работу о Чехове А. П. Чудакова.

5. Чехов-драматург оказался “более ценен”, если под ценностью понимать востребованность публикой, мировую известность, популярность. Во всяком случае, на экспорт пошла именно драматургия. Это и понятно. Проза Чехова почти непереводима, как стихи. В ней есть такой “изгиб”, пользуясь достоевским словцом, который пересказать, передать на другой язык очень трудно. Он в этом отношении подобен Пушкину. В его прозе будут нуждаться, доколь в подлунном мире литература будет искусством, а не родом информации или средством развлечения. Что касается моих личных предпочтений, то я постоянно перечитываю рассказы последних лет, но не возвращаюсь к пьесам, рука сама привычно тянется к 7–10 томам. “Рассказ неизвестного человека”, “Моя жизнь”, “Скучная история”, “Соседи”, “Страх”, “Володя большой и Володя маленький”, “Попрыгунья”, “Мужики”, “В овраге”… Знаю их близко к тексту; кажется, если бы в каком-то издании была вдруг пропущена фраза, я бы заметила. “Чайка” и “Три сестры” — замечательные вещи, а “Вишневый сад”, по-моему, слабая. Но, может быть, виновато школьное обучение.

6. Писатель, думающий, что легко написать “Даму с собачкой” или “Дом с мезонином” (даже “Лошадиную фамилию”), не может написать настоящую прозу: он просто не знает, что это такое. Если это сказал “известный советский писатель”, его “слава преувеличена”. В советские времена это не было редкостью, в писатели назначались.

Вровень с Чеховым я не поставлю никого. Только Толстого. Но есть одно удивительное явление. Это повесть Юрия Трифонова “Предварительные итоги”. Кажется, что она написана самим Чеховым, побывавшим в шкуре советского переводчика. Чудная, бесконечно грустная, правдивая повесть, от первого лица. В романах “Долгое прощание” и “Другая жизнь” тоже есть чеховские страницы. И цикл рассказов “Опрокинутый дом” говорит о том, что Трифонов — ученик Чехова.

И, конечно, — Шаламов.

7. Это... как бы сказать? — Ниже моего понимания. По этому поводу вспоминается, как Толстой говорил, что он всех может понять, даже убицу и вора — только не дурака.

**Ольга Новикова, Владимир Новиков***,* ***писатели***

1. Ну, вы-то, Антон Павлович, — исключение. И отдаленная цель ваша теперь нам видна, и с художественностью — все в порядке.

2. Творческая ревность — et rien de plus. Анненский и Ахматова не умели писать повествовательную прозу. Гиппиус писала, но у ее рассказов и пьес быстро истек срок годности, это сейчас только археологический материал. Если же по сути: “слишком нормальный” не написал бы “Черного монаха”, не закричал бы устами дяди Вани: “Из меня мог бы выйти Достоевский, Шопенгауэр. Я зарапортовался, я с ума схожу”, не придумал бы выражения “мы попали в западню”.

Теперь об античеховских выпадах со стороны великих гуру и “медведиц пера”. Где это “мнимое превосходство”, перед кем? Наоборот: чувство равенства со всеми — с Гуровым, Алехиным, Иваном Великопольским вкупе с Василисой и Лукерьей, с Треплевым и Тригориным одновременно… Потому и с читателями он на равных, не давит авторитетом.

А “устремленность ввысь” есть. Но не к высокой политической игре и к политическому бомонду, а к “небу в алмазах”. Кто к чему стремится…

3. Для нас — со способностью мыслить самостоятельно, не зомбироваться.

4. Всю изменчивую Россию не мог изобразить никто. От чеховедения Чехов ждет большего внимания к связи авторской личности с художественными приемами.

5. С точки зрения русского языка Чехов прежде всего прозаик, с точки зрения всемирного языка — драматург.

6. Писать кратко труднее, чем писать длинно. А повторить Чехова невозможно.

7. Незнание предмета.

**Валерий Попов*, писатель***

1. Насчет отсутствия у себя великой идеи Чехов прав. Но именно поэтому он самый реалистичный, самый человечный писатель. Любая великая идея сильно искажает не только литературу, но и жизнь.

2. Что любил Чехов? Он любил жизнь, не требуя от нее лишнего, невозможного и фальшивого, как это требовали другие писатели, называющие себя великими и желающими вывернуть жизнь по-своему. Он любил нас как таковых, поэтому и мы любим его больше всех других писателей.

3. Да, с этими понятиями интеллигенция любит ассоциироваться. Хотя в ней полно энергичных, хитрых и целеустремленных людей, которые, защищая свою чистоту, безволие и идейную деградацию (читай — отказ служить любой системе), своего добьются и задолбают любого врага.

4. Конечно, он не изобразил нынешних маркетологов, пиарменов, а также олигархов. Он вообще не рисовал классы — а только лишь множество неповторимых, как и есть в жизни, людей. Зачем пытаться “сбить Чехову цену”? Ради того, чтобы привлечь к себе на секунду внимание? Только собьешь цену себе. Если этим вдруг занимается современное чеховедение, что–то “ переосмысливая” и переворачивая, то это напрасный труд.

5. На мой взгляд, богаче Чехов — прозаик. Пьесы его вызывают у меня легкую тоску своей заданностью.

6. Если бы кто-то мог написать такое — так взял бы и написал, а не хорохорился понапрасну. Можно (зачем-то) написать что-то подобное — но все равно это не будет “в десятку”, как у него. Свое лучше пиши.

7. Конечно, эти писатели, написавшие гусиным перышком и при свечах — столько и такого качества, что нам и не снилось, вызывают ревность и бешенство. Когда же они это успели? Видимо, реже меняли жен и меньше сидели по тюрьмам. Вовремя поняли, что литература важней. А тошноту действительно вызывают их популяризаторы и преподаватели, пытающиеся выкроить из них что-то для себя.

**Алексей Семкин*, литературовед***

1. Мне кажется, это очень знакомое и понятное явление: чем умнее человек, тем яснее он осознаёт ограниченность своего разума, чем больше он знает, тем глубже понимает, насколько он мало знает (известная фраза Сократа о том, что он ничего не знает). Величайшие святые были убеждены в том, что они самые великие грешники. Для того, чтобы понять, насколько ты мал, — нужно увидеть, насколько велик мир и насколько бо2льшим мог бы ты быть в этом мире. Ну, а с нашей литературой — это вечная история: чем выше взлет, тем отчаяннее жалобы на ничтожность и нищету нашей литературы. В 1861 году Н. Н. Страхов публикует большой очерк “Бедность нашей литературы”. По нашим представлениям, это время подлинного расцвета нашей изящной словесности: Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Тютчев, Фет, Некрасов... А Страхов всерьёз говорит “о бедности”. Вероятно, это взаимосвязанные вещи: чем строже требования, чем выше планка, чем сильнее сокрушения о “бедности”, тем прекраснее и величественнее всё на самом деле. Мне кажется, именно так и нужно понимать сокрушенную интонацию Чехова о положении дел в современной ему литературе.

2. Я думаю, о любом замечательном человеке можно найти подобные высказывания, найти высказывания вполне уважаемых и тонких ценителей, которые почему-то к данному абсолютно и бесспорно гениальному писателю относились более чем прохладно. Общеизвестно: Лев Толстой не признавал Шекспира, Набоков — Достоевского, сам Чехов весьма скептически оценивал талант Гончарова... Если уж говорить о цитатах, мне ближе всего слова Сергея Довлатова: “Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее.

Однако похожим быть хочется только на Чехова”.

3. У Чехова мы находим совершенно разные, диаметрально противоположные оценки русской интеллигенции: в одном месте он называет ее лживой, ленивой, ни к чему не способной, в другом утверждает, что надежда России связана все-таки именно с нею. И тут нет противоречия. Просто в одном случае речь идет об идеальном варианте, об интеллигенции, какой она должна быть, в другом случае — о реальном положении дел, о вариантах, от идеала весьма далеких.

4. Когда-то Белинский назвал роман Пушкина “Евгений Онегин” энциклопедией русской жизни. В значительно большей степени это определение применимо к рассказам и повестям Антона Павловича. Впрочем, конечно, нет и не могло быть у Чехова человеческих типов, порожденных безумным ХХ столетием: ни чекистов, ни комиссаров, ни фанатиков, ни фанатичных комсомольцев-добровольцев, ни представителей партноменклатуры... И вот почему: тот же Довлатов определил Чехова как самого нормального писателя в нашей литературе. А наша страшная история XX века — чудовищное отклонение от нормы. Чеховское трезвое изображение человека вернется в нашу литературу, только когда все это безумие начнет утихать — я имею в виду творчество Василия Макаровича Шукшина. Вторая часть вопроса не очень понятна: если хочешь сказать что-то новое, обязательно подвергаешь сомнению и пересмотру что-то сказанное до тебя, иначе все свелось бы просто к механическому повторению одного и того же набора бесспорных аксиом.

5. Это вопрос из серии “кого ты больше любишь — папу или маму?”. Тот же Шекспир важнее как драматург или как поэт? Пушкин и Лермонтов — великие поэты, но они же — подлинные создатели русской прозы. Мне лично ближе чеховская проза, но ни в коем случае не осмелюсь утверждать, что она важнее его драматургии. Мне только жаль, что во многих странах мира, где Чехова очень любят, например, в Англии, или в Японии — его знают, насколько мне известно, практически исключительно как драматурга.

6. Эта простота кажущаяся, а известный советский писатель, конечно, шутил: написать не то, что десяток, а хотя бы один вполне чеховский рассказ, конечно, не просто трудно — невозможно. Можно попытаться подражать, написать стилизацию, но это будет не более чем литературной игрой. Подлинными продолжателями чеховской линии в литературе XX века, на мой взгляд, являются с одной стороны Шукшин, с другой — Зощенко, а за ним — Довлатов.

7. Я думаю, здесь две причины. Внешняя — действительно эпатаж. Скандалисту необходимо постоянно поддерживать свою славу скандалиста, если он ею дорожит. А Лимонов дорожит своим положением enfant terrible. Такие высказывания необходимы ему как кепка-шестиклинка хулигану послевоенной поры или розовый гребень — панку. Вторая причина более существенна: Чехов, как уже отмечено выше, самый нормальный писатель во всей русской литературе. Именно этим, по-видимому, и объясняется ненависть к нему Лимонова, который весь — воплощенное отрицание нормы.

**Андрей Степанов*, литературовед, доктор филологических наук***

1. Молодой Чехов не ставил себя выше писателей-современников, “артели восьмидесятников”, которые “писали жизнь такою, как она есть”, избегая прямых оценок и учительства. Эта тенденция в русской литературе конца 1880-х — начала 1890-х годов многим казалась упадком, особенно по сравнению с периодом 1860-х, и Чехов временами тоже склонялся к такому мнению. Но мы ведь ценим его не как литературного критика.

2. Вопрос поставлен некорректно. Все эти высказывания имеют определенные исторические, биографические, литературные и идеологические причины, они могут быть предметом исследования (почему сказано?), а не согласия или несогласия. Впрочем, если все-таки абстрагироваться от контекста и убрать слово “слишком”, то Гиппиус права: Чехов — самый “нормальный”, этически и психически, человек в русской литературе. У него не было ни одной странности.

3. У кого как. Зависит от того, насколько хорошо ассоциирующий знает тексты. Идейной деградации там почти нет (так как у героев не бывает “истинных” идей), есть только “бытовая”. Безволие, конечно, присутствует, но оно редко является главной темой рассказа. Душевная чистота легко сочетается с ограниченностью и догматизмом. Если же вопрос задан о современном массовом сознании, то для него “чеховский интеллигент” — это, наверное, земский врач, доктор Астров. Впрочем, это ведь идет волнами: сначала превозносят земских врачей, потом осуждают безвольных хлюпиков. Я не слежу за сменой этих волн.

4. Почти отсутствуют или окарикатуриваются аристократы. Это единственная общественная группа, которую Чехов плохо знал и априорно не любил.

В ответ на второй вопрос надо писать диссертацию.

5. Чехов входит в так называемый канон мировой литературы вместе с Данте, Шекспиром, Гёте и т. д. только как драматург. С его рассказами за пределами России знаком только узкий круг ценителей, а драматурга знают все, кто окончил колледж. Но драматургия Чехова, как известно, — это прозаизация драмы. Не было бы рассказов и повестей — не было бы и драмы.

6. Сочинить произведение прошлого абсолютно невозможно. Серьезная стилизация (не пародия, а “соперничество”) обречена выродиться в поверхностную имитацию: можно научиться писать, как другой, но нельзя научиться мыслить, как другой. Все известные мне подражания Чехову очень слабы. “Продолжатели традиций”, как показали еще формалисты, великими никогда не становятся. Сравнивать “стиль и уровень” очень трудно. Но вот вчера дочитал повесть Александра Кабакова “Беглец”. Там очень много исторических ошибок (их показал А. С. Немзер), но по настроению эта вещь настолько близка к Чехову, насколько вообще возможно.

7. Банальный подростковый бунт против взрослых. Из этого бунта только и состоит жизнь и творчество г-на Савенко.

**Борис Хазанов*, писатель***

1. Чехов был чрезвычайно скромным и самокритичным писателем. Если бы ему сказали, что он будет признан одним из величайший европейских прозаиков и драматургов, он, вероятно, был бы удивлен.

2. Известные отзывы Ахматовой о Чехове, притом что ее поэзия ближе к Чехову, чем к другим классикам русской прозы, — курьезное недоразумение. Солженицын с критикой “Архиерея” и пр. поставил себя в смешное положение. Другие суждения, упомянутые вами, в лучшем случае можно принять к сведению; комментировать их нет смысла.

3. С неприкаянностью, с одиночеством в своей стране, с невозможностью найти общий язык ни с правящей бюрократией, ни с народом. С героическими попытками уцепиться за выхолощенные идеалы. С манией наивного философствования, утопическими мечтаниями о будущем. Со смутной догадкой о том, что русская интеллигенция, может быть, лучшее, что родилось в этой стране.

4. Непонятно, что значит “вся Россия”. В вещах Чехова можно встретить людей из всех слоев тогдашнего русского общества (хотя лишь сравнительно немногих представителей национальных меньшинств, как-никак составлявших половину населения империи; это общее свойство русской классики). Что касается чеховедения, ему можно предъявить один упрек: оно не сумело как следует втолковать читателям Чехова, с писателем какого масштаба они имеют дело.

5. Я не могу отдать предпочтение ни прозе Чехова перед его театром, ни наоборот.

6. В Баденвейлере, в Верхнем Шварцвальде, на мемориальной доске с именем Чехова перед входом в гостиницу, где он остановился, написано, что он здесь жил. Власти не хотели упоминать о том, что это дом смерти. Но получилось так, что Чехов *жив*.

Это, однако, не означает, что литература современной России живет с Чеховым, по вашему выражению — продолжает чеховские традиции. (Последним из наследников Чехова — с известными оговорками — был Юрий Трифонов.) Высказывание известного советского писателя, о котором вы упомянули, слова его приятеля о том, что он мог бы запросто сочинить десяток таких рассказов, как “Дама с собачкой”, говорят лишь об этом писателе и его окружении: а жаль, что не знаком ты с нашим петухом.

Написать “Дом с мезонином” во второй раз не то чтобы трудно, но невозможно, — о чем тут толковать. Вообще возрождение чеховской прозы с ее лаконизмом, концентрацией, точностью и прозрачностью языка, отвращением ко всяческому фиглярству и кокетничанью с читателем, с ее поразительным соединением бесжалостной правдивости со сдержанным, почти стыдливым лиризмом (редко какой из отечественных классиков сумел так опоэтизировать Россию) в сегодняшней русской литературе, мне кажется, исключено.

7. К несчастью, я не могу принять излияния Эдуарда Лимонова всерьез. Они не заслуживают обсуждения.

1 Известная философичность оптики символистов и пристрастие к аномалиям были неприемлемы для Чехова. В этой конфронтации я всецело на стороне Чехова. Между прочим, Томас Манн считал норму атрибутом гениальности (в статье о Гёте), Гиппиус об этом не задумывалась, иначе не стала бы бросать свое поверхностное обвинение.

2 Перепечатывая “Душечку” в сборнике “Круг чтения”, Толстой вычеркнул те места, где присутствует явная ирония автора.

3 См. статью Солженицына о Бродском. И к чеховскому юмору, к его грустной иронии он, по всей видимости, был нечувствителен или, скажем мягче, равнодушен.

4 “Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят”. И еще: “Королев… думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро…” (это писалось за 20 лет до революции).

5 “Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь”; “Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед”.